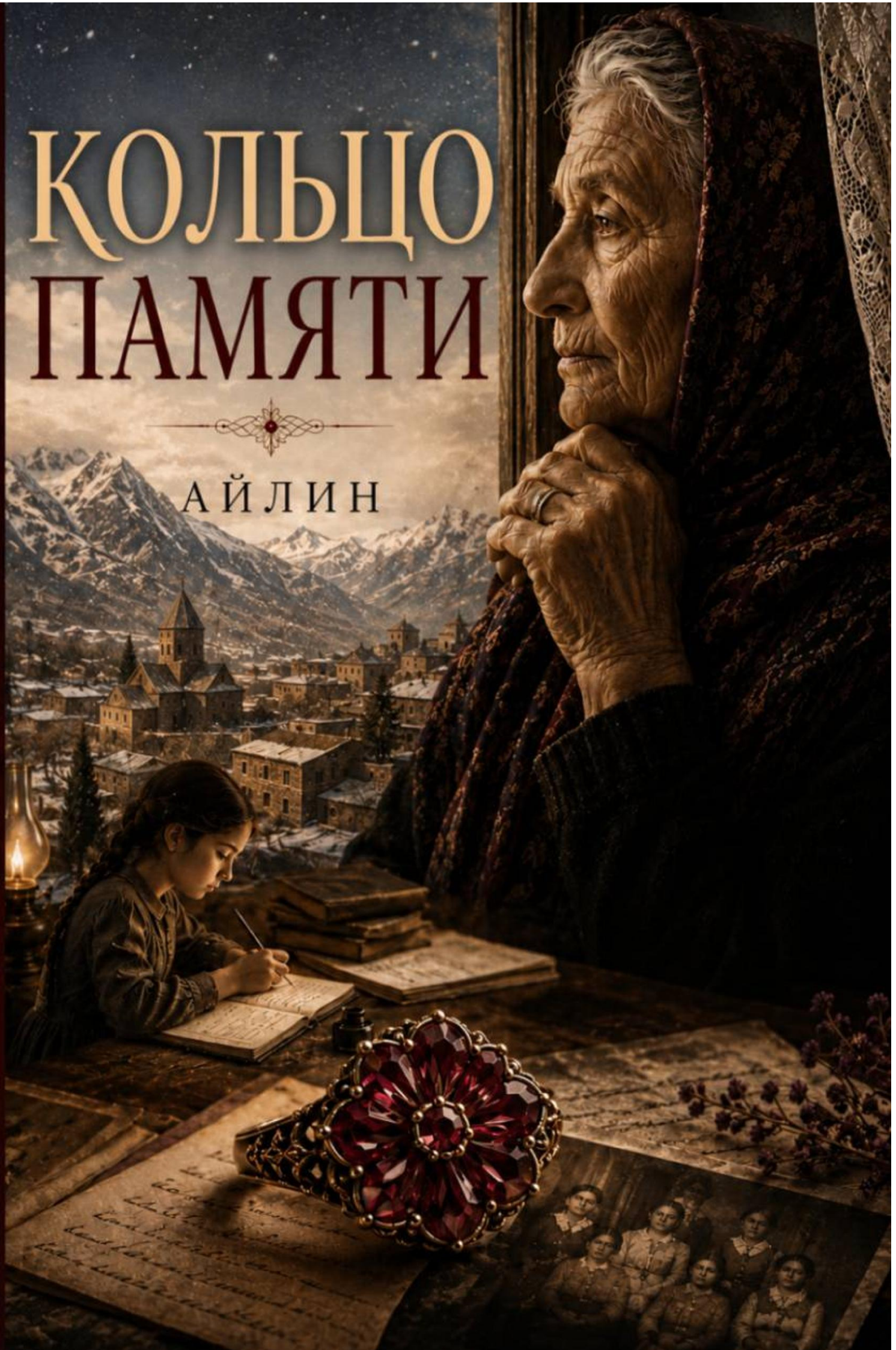


КОЛЬЦО ПАМЯТИ

АЙЛИН



Айлин

Кольцо памяти

«Автор»

2026

Айлин

Кольцо памяти / Айлин — «Автор», 2026

Сага о женщине, выстоявшей век. Армения, начало XX столетия: прачкина дочь Саарназ получает в дар кольцо и завет — стоять за своё до конца. Революция, тридцать седьмой, война отнимают у неё дом, мужа, сыновей — но не ломают. Четыре поколения, четыре женские руки передают кольцо и память рода сквозь страх и молчание. История о силе и цене, о грехе и прощении, о том, что живое нельзя отдавать за мёртвое, — и о памяти, которую спасает не молчание, а слово.

© Айлин, 2026

© Автор, 2026

Содержание

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЕРАЗ	6
ГЛАВА ВТОРАЯ. МАНУШ	11
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. СААРНАЗ	15
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ДЕВОЧКА, ЧТО ХОТЕЛА БУКВЫ	17
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДОМ, КОТОРЫЙ ОНА ПОСТРОИЛА	28
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Айлин

Кольцо памяти

«За любовь надо стоять. Даже за чужую.

Живой человек дороже всякой идеи.»

— завет кольца

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЕРАЗ

«За любовь надо стоять. Даже за чужую»

Дом стоял на холме над городком — белый, двухэтажный, с колоннами по фасаду, с балконом, с флигелями, с садом, спускавшимся по склону террасами к самой реке. Его было видно отовсюду, как видна церковь или казённое присутствие, — и он, как церковь и присутствие, означал власть: тут жили господа, тут решались судьбы, отсюда тянулись нити, на которых висел весь окрестный люд.

Хозяином дома был Согомон-ага — купец первой гильдии, человек тяжёлый, властный, выбившийся из небогатых и оттого вдвойне дороживший нажитым. Он торговал хлопком и шёлком, держал лавки в городе и долю в товариществе, давал в рост, и многие в округе кланялись ему ниже, чем попу, потому что поп отпускал грехи на том свете, а Согомон-ага кормил или морил на этом. Он построил этот дом сам, своими нажитыми деньгами, и любил его так, как любят не вещь, а доказательство — доказательство того, что он, сын мелкого лавочника, поднялся выше всех, кто смотрел на его отца свысока.

У Согомона-аги было всё, что положено иметь преуспевшему человеку: дородная набожная жена, сыновья при деле, лавки, земли, имя. И была дочь — поздняя, единственная дочь, Ераз.

Имя ей дали странное для купеческого дома, мечтательное: Ераз — «сон», «мечта», «греза». Назвала её так мать, носившая девочку трудно и видевшая перед родами сон, который сочла вещим, — а Согомон-ага не спорил, потому что дочери, в отличие от сыновей, не наследуют дела, и имя им можно дать какое угодно, хоть «сон», хоть «греза», всё равно ей не торговать хлопком, а идти за того, за кого выдадут, и рожать чужому роду наследников.

И вышло так, что имя село на девочку, как влитое. Ераз и впрямь росла будто не вполне здешней, не вполне отсюда. Тонкая, светлая, с большими тёмными глазами, в которых всегда стояло что-то отсутствующее, обращённое не наружу, а внутрь, она и ходила-то не как все — не ступала, а словно плыла по навощённому паркету, и нянька крестилась ей вслед и шептала, что дитя не жилец, что такие на земле не задерживаются. Но Ераз задержалась, выросла, и из странного ребёнка вышла странная барышня — красивая особой, нездешней красотой, от которой женихам делалось не по себе, будто им предлагали в жёны не девушку, а облако.

В этот-то дом и приходила с малых лет маленькая Саарназ — дочь прачки.

Мать её, Мануш, стирала на господ. Каждое утро, затемно, она спускалась с горы, где стоял их каменный домишко лесничего, в усадьбу, и весь день гнула спину над корытами, над лоханями, над котлами с кипящим щёлоком, отстирывая господское бельё — тонкое, белое, в кружевах, какого в её собственном доме отродясь не водилось. А вечером, воротясь, стирала ещё и на своих — на мужа-лесничего да на ораву детей, — и не было дня, чтоб её руки знали покой.

Девочку она брала с собой — некуда было девать, да и лишние руки в большом доме всегда пригождались: поднести, прибрать, подать. И Саарназ, переступая порог господского дома, всякий раз робела и немела. Дома у них был камень, земляной пол, тонир, дым, коза на крыше. А здесь — навощённый паркет, по которому ноги сами начинали ступать на цыпочках; зеркала в рост человека, в которых она впервые увидела себя целиком и испугалась чужой долговязой девочки, глядевшей на неё из стекла; посуда тонкая, просвечивающая, страшно дохнуть; и книги — не одна, как у них, спрятанная под образа, а целые шкафы, ряды за стеклом, корешок к корешку, столько, что Саарназ столбенела перед ними и забывала, зачем пришла, пока мать не дёрнула её за рукав.

Так с самого детства узнала она, что мир разделён надвое: на тех, у кого паркет, зеркала и шкафы книг, и на тех, у кого камень, дым и одна книга под образами. И ещё узнала, рано, не

умом, а кожей, что между этими двумя половинами мира пролегает черта, которую не перейти: можно прислуживать господам, можно даже привязаться к ним, а они к тебе, — но переступить черту, стать вровень нельзя, не дано, не положено.

И всё же был в этом доме человек, который эту черту, единственный, переступал, — и это была дочь хозяина, Ераз.

Ераз была старше Саарназ лет на восемь — взрослая барышня, когда та была ещё девчонкой. Между ними лежала пропасть, такая, что и помыслить было нельзя о близости: барышня и девчонка прислуги. И всё-таки барышня привязалась — не к девочке, та была мала, а к её матери, к прачке Мануш.

Так бывает с богатыми девушками, у которых, при всём изобилии, нет никого, кому можно довериться. Матери до Ераз дела не было, кроме приличий да выгодного замужества; отцу — кроме приданого и того, чтоб дочь не уронила имени; подруги, такие же купеческие дочки, завидовали её красоте и переносили о ней сплетни. А простая прачка ничего не выгадывала, ничего не доносила, ни перед кем не выслуживалась — и оттого ей одной и можно было открыть то, чего не откроешь равным.

И Ераз открывала. Спустится, бывало, в прачечную, под предлогом, что соскучилась или что нужно перебрать бельё, сядет на перевёрнутую лохань, подберёт под себя ноги и сидит часами, глядя, как Мануш стирает, и говорит, говорит — обо всём, что копилось в ней и не находило выхода в пустых, чинных господских комнатах. А Мануш стирала и слушала, изредка вставляя слово, и в этом её немногословии, в этих натруженных руках, в самой её усталой надёжности было для барышни больше тепла, чем во всём родительском доме.

Маленькая Саарназ при этом сидела где-нибудь в углу, на свёрнутом бельё, тихая, незаметная, и слушала, во все уши слушала, как слушают дети взрослые разговоры, не всё понимая, но всё запоминая. И так, в углу прачечной, она и узнала чужую тайну прежде, чем поняла, что это тайна.

А тайна была вот какая. Ераз влюбилась — и, как водится в таких историях, не в того, в кого следовало.

Ей подбирали жениха богатого, из своего круга, — сына компаньона, человека солидного, с домом и капиталом, за которого всякая купеческая дочь пошла бы не задумываясь. А она отдала сердце Араму.

Арам был никто. Не то писарь, не то младший учитель в городском училище, из небогатых, из тех, кого в господский дом пускали разве что с заднего крыльца, по делу, и тут же выпроваживали. Он давал в доме уроки — не Ераз, барышне уроки были без надобности, а младшим детям компаньона, гостившим лето, — и так они и встретились: учитель чужих детей и дочь хозяина, столкнувшиеся в саду меж розовых кустов, два человека, которым по всем законам того мира и заговорить-то друг с другом было нельзя.

Но они заговорили. И Саарназ, подросши и вспоминая потом эту историю, думала, что любовь, должно быть, и есть та сила, что пробивает все черты и перегородки, какие понастроили люди, — пробивает, как трава пробивает камень, тихо и неодолимо. Арам был беден, но умён, начитан, и говорил он не как купеческие женихи — не о капиталах и лавках, а о книгах, о звёздах, о дальних странах, о том, что мир велик и удивителен, — и Ераз, задыхавшаяся в своём раззолоченном доме, как птица в клетке, потянулась к нему всем своим мечтательным, рвущимся вдаль существом.

Любовь эта была безнадёжна — и оттого, должно быть, особенно сильна. Видеться открыто им было нельзя: отец Ераз, прознай он, и слышать бы не захотел о таком зяте, голодранце-учителишке, а Арама велел бы спустить с лестницы да ещё, чего доброго, и со службы согнать. И они стали видеться тайком. А устраивала эти тайные встречи — Мануш.

Маленькая Саарназ тогда не понимала, чем рискует мать. Поняла много позже — и ужаснулась задним числом.

Прачка, помогающая господской дочери бегать на свидания против отцовской воли, играла головой. Откройся это — выгнали бы со двора в тот же день, и не одну Мануш, а всю семью: и отца-лесничего, кормившегося при том же имении, и всех детей. Пошли бы по миру, без крова, без хлеба, в нищету, из которой при тогдашней жизни не было ходу назад. Мать рисковала всеми ими — мужем, детьми, домом, куском хлеба, — и ради чего? Ради чужой любви. Ради барышни, которая ей, по совести, была никто, — другой крови, другого сословия, другого мира.

Зачем она так рисковала — этого маленькая Саарназ тогда не понимала, а спросит много позже, уже взрослой. И мать ответит ей так, что Саарназ запомнит на всю жизнь: «Я на неё глядела и думала — пусть хоть у одной из нас будет по любви. Хоть у одной». Но этот разговор, и вся жизнь Мануш, что стоит за теми словами, — впереди, в книге второй.

И в этих словах была вся её жизнь — но об этой жизни, о самой Мануш, о том, какой ценой далось ей это тихое «пусть хоть у одной», рассказано отдельно, в своём месте. Здесь довольно сказать, что помогала она чужой любви не ради выгоды и не ради платы, а будто хотела через чужую судьбу досказать недосказанное в своей, — и ради этого не жалела ничего.

Носила она записки, спрятав их в складках простыней, в подоле, в подкладке корзины для белья. Прикрывала отлучки барышни — скажет хозяйке, что Ераз помогает ей мотать пряжу или перебирать господское бельё, а та в это время за дальней оградой сада, у старой груши, с Арамом. Сводила их, стерегла, караулила, отводила глаза, прикрывала отлучки барышни перед господами — она, честная во всём прочем, ради этой чужой любви научилась тому, чего не умела и не любила, и шла на это, не дрогнув.

А раз чуть не вышла беда — да такая, что вспоминать страшно.

Хозяин, Согомон-ага, воротился с охоты раньше срока, неожиданно. А Ераз была в саду, за дальней оградой, с Арамом, — а должна была, по сказанному матери, сидеть дома, в своей комнате, за пальцами.

Мануш увидела хозяина первой — она всё видела первой, тем зорким, настороженным зрением прислуги, что выработано веками страха. Увидела въезжающего во двор хозяина, обмерла, обмякла на миг — и тут же кинулась, не помня себя, к садовой калитке, наперехват. Перехватила барышню у самой калитки, когда та, покрасневшая, со счастливыми ещё глазами, спешила домой, ничего не зная. Времени объяснить не было. Мануш втолкнула её в прачечную, сорвала с неё кружевную накидку, сунула в руки мокрую простыню и валёк и зашептала жарко, страшно:

— Бей! Бей бельё! Громче бей! Отец приехал! Стирай, барышня, ради всего святого, стирай!

И когда Согомон-ага, обходя по-хозяйски двор, заглянул мимоходом в прачечную, — дочь его стояла над корытом. Раскрасневшаяся, растрёпанная, со сбитым дыханием, с засученными по локоть рукавами, она колотила вальком мокрое бельё, как простая прачка, и брызги летели во все стороны.

Хозяин остановился в дверях, поражённый.

— Ераз? Ты что это?

— Помогаю, папенька, — выдохнула барышня, не поднимая глаз и продолжая колотить вальком, чтоб скрыть дрожь в руках. — Мануш одна не управляет, а бельё к завтраму надо. Что ж ей, до ночи спину гнуть?

Согомон-ага подивился. Постоял, поглядел на дочь — над корытом, в брызгах, с прилипшими ко лбу волосами, — покачал головой не то с неудовольствием, что дочь купца первой гильдии стоит над лоханью, как чёрная кость, не то с тайной, невольной гордостью, что выросла не белоручка, не кисейная, — да и ушёл, ничего не заподозрив.

А Мануш с Ераз, едва он скрылся за дверью, переглянулись — и обе разом, не сговариваясь, зажали себе рты ладонями, чтоб не прыснуть в голос. И потом, спрятавшись за развешан-

ным на верёвках бельём, в сыром тёплом полумраке прачечной, они смеялись — беззвучно, до слёз, до колик, до икоты, как смеются, когда страшная беда прошла мимо на волосок, обдав холодом, и пронесло, и снова можно дышать. И маленькая Саарназ, ничего не понявшая, но видевшая, как смеются, забившись за бельё, прачка и барышня, тоже смеялась с ними, за компанию, и это был один из тех немногих дней её сурового детства, что запомнились ей светлыми.

Кончилась эта история хорошо — а такие истории, Саарназ потом всю жизнь это помнила, кончаются хорошо редко.

Арам оказался не пустоцвет. Он не смирился, не отступил, не пропал — он стал добиваться Ераз единственным путём, какой был ему открыт: выбиться, подняться, стать человеком, которому не откажут. За год с небольшим он выслужился, занял хорошее место в казённом ведомстве, обзавёлся жалованьем и положением — и пришёл в дом Согомона-аги уже не с заднего крыльца, тайком, а с парадного, среди бела дня, и посватался честь по чести.

Согомон-ага для виду поломался, поартачился — как же, отдавать единственную дочь за вчерашнего учительшку, — но Арам был теперь уже не голытьба, а чиновник с видами на будущее, и партия выходила не позорная; а главное, старик дочь любил, хоть и по-своему, по-купечески, сурово, и видел, что она извелась, истаяла, ходит как тень. И он сдался. Дал согласие. Их обвенчали.

Свадьбу играли богатую, на весь город. И на этой свадьбе Мануш стояла там, где ей и положено было стоять, — в стороне, среди прислуги, у дверей залы, в своём лучшем, но всё равно бедном, перешитом платье, держа за руку маленькую Саарназ. Пир шумел, гремел, переливался; гости ели и пили, поднимали чаши, заздравили молодых; блестели зеркала, горели свечи, играла музыка.

И вот посреди всего этого блеска Ераз вдруг поднялась из-за свадебного стола — невеста, в уборе, в фате, — и пошла. Пошла через всю залу, мимо изумлённых, недоумевающих гостей, прямо к дверям, где жалась у стены прачка с девочкой. Подошла. Сняла с пальца кольцо — то самое, с тёмным рубином, гранёным в форме цветка, тёмным, как капля старого, загустевшего вина, — взяла руку Мануш, шершавую, в трещинах, навек пропахшую щёлоком, и надела кольцо ей на палец.

— Это тебе, Мануш, — сказала она громко, на всю залу, чтоб все слышали. — Без тебя не было бы нынешнего дня.

По зале прошёл ропот. Кольцо с рубином — прачке, при всех гостях, в день свадьбы, из рук невесты. Это было против всех правил, неслыханно, немислимо, и гости зашептались, заглядывались, а Согомон-ага потемнел лицом и нахмурился — но смолчал, стерпел, не устраивать же сцену на свадьбе единственной дочери, при всём городе.

А Мануш онемела. Стояла, глядя на тёмный рубин на своём растрескавшемся пальце, и не знала, что делать, куда деваться от стольких устремлённых на неё глаз. Хотела снять кольцо, вернуть, забормотала растерянно — куда мне, барышня, не по руке оно мне, не по чину, возьмите обратно, Бога ради, — но Ераз сжала её ладонь обеими руками, крепко, не давая снять, и сказала тихо, уже только ей одной, наклонившись к самому её уху:

— Носи. И дочери своей передай. И пусть в вашем роду оно значит то, что ты для меня сделала, — что за любовь стоит стоять. Даже за чужую. Особенно за чужую.

И поцеловала прачку в щёку — при всех, при отце, при всём городе, — и вернулась к жениху, к своему Араму, ради которого и затеяла всё это, и за которого выстояла против отца, против правил, против всего света.

Кольцо Мануш не носила.

Не потому, что не дорожила, — а потому, что слишком дорожила, и ещё потому, что прачке носить рубин значило накликасть беду: засмеют, оговорят, а то и обвинят, что украла. Она берегла его, прятала, как берегут и прячут единственную драгоценность в бедном доме,

— завернула в чистую тряпицу и схоронила на самом дне сундука, под бельём, под скудным приданым, что собирала дочерям.

И там, на дне сундука, кольцо пролежало годы. Барышня Ераз уехала с мужем в свою новую жизнь; усадьба жила своим чередом; Мануш стирала, пекла, рожала, растила детей, старела над корытами. А рубин лежал во тьме, завёрнутый в тряпицу, и ждал своего часа — потому что у такого кольца всегда есть свой час, и оно умеет ждать дольше, чем живут люди.

Час этот придёт через годы — в ту ночь, когда старшей дочери Мануш, Саарназ, сравняется пятнадцать и её соберутся отдавать замуж. Тогда мать достанет кольцо со дна сундука, наденет дочери на тонкий палец, подложив ниточку, чтоб не соскользнуло, и скажет над ним те самые слова, что были сказаны когда-то над ним самим, — про Ераз, что стояла за свою любовь, и про черёд, который придёт каждой.

Но это будет уже другая история — история той девочки, что хотела буквы.

ГЛАВА ВТОРАЯ. МАНУШ

«Пусть хоть у одной из нас будет по любви»

Звали её Мануш — имя нежное, означавшее «фиалка», цветок тихий, неброский, растущий в тени, у корней, незаметно. И вся она была под стать имени: тихая, неприметная, согнутая работой, из тех женщин, которых не замечают, пока они есть, и спохватываются, лишь когда их не станет. Лицо у неё было доброе и усталое, руки — красные, разъеденные щёлоком, в вечных трещинах, которые она на ночь смазывала бараньим жиром и заматывала в тряпицы, а наутро снова совала в горячую воду, в стирку, и трещины расходились по живому.

Стирала она с рассвета. Господское бельё было тонкое, белое, в кружевах, и стирать его надо было особо, бережно, не порвав, не застирав, отбелив до снежной чистоты, — а попробуй отбели до снега руками, в холодной воде, золой да щёлоком, без всякой нынешней лёгкости. Зимой бельё на реке вставало колом, делалось как жёсть и резало пальцы; летом от щёлока и солнца трескалась кожа.

После той свадьбы, где барышня Ераз при всём городе надела кольцо на палец прачке, жизнь Мануш не переменялась ничуть.

Барышня уехала с мужем в свой новый дом, в свою новую, выбранную по любви жизнь, — а прачка осталась там, где была, при чужом доме, при чужом белье, при своей нескончаемой работе. Так уж устроен мир: одни в нём выбирают, другие прислуживают выбравшим, и кольцо, подаренное прачке этого порядка не отменяло.

Мануш стирала и стирала, год за годом, и река текла, и бельё сменялось бельём, и казалось, что так будет всегда, до самого конца, — да так, в общем, и было.

А была когда-то и Мануш молода, и её когда-то выдавали замуж. Только её, в отличие от барышни Ераз, никто не спрашивал.

Сговорились родители — её и Аршака, лесничего, — ударили по рукам, и всё было решено помимо неё, через её голову, как решали тогда судьбу всякой бедной девки. Аршак был не молод и не стар, не красив и не дурён, не зол и не ласков — просто человек, за которого отдавали, лесничий при имении, с домом на горе и верным куском хлеба. Любить его Мануш не любила — да и не знала, что это, любить; в её кругу о любви не говорили, любовь была барская выдумка, господская роскошь, как кружева и зеркала, а бедным полагалось не любить, а жить: работать, рожать, тянуть.

И она пошла за Аршака, и стала жить, и тянуть. Аршак был не злой муж — не бил, не пил без меры, приносил в дом, что добывал в лесу, — но и не было между ними того, о чём поют в песнях. Он уходил в лес затемно, возвращался затемно, молчал, как молчал его лес; она стирала, пекла, рожала. Они прожили вместе целую жизнь, и нарожали тринадцать живых детей, и схоронили столько же младенцами, — а так и не стали друг другу тем, чем стали Ераз с её Арамом. Жили рядом, не врозь и не вместе, как живут два дерева, выросших из одного корня, — близко, а каждое само по себе.

И Мануш не роптала. Она и не знала, что бывает иначе, — пока не пришла прачкой в господский дом и не увидела вблизи чужую любовь.

Вот тогда-то, глядя на барышню Ераз и её тайного Арама, Мануш впервые и увидела то, чего сама была лишена.

Она видела, как у барышни загорается лицо при одном имени любимого; как та живёт от встречи до встречи, считая часы; как от любви делается она вся светлая, лёгкая, будто изнутри подсвеченная. И в Мануш, в тихой, согнутой над корытом прачке, что-то отзывалось на это — глухо, на самом дне, там, куда она и сама давно не заглядывала. Не зависть — на зависть она была не способна, не той породы, — а тоска. Тихая, безнадежная тоска по тому, чего у неё

не было и уже не будет: по своей, по выбранной, по той единственной любви, ради которой стоит рисковать и стоять.

И когда барышня, не смея довериться никому из равных, доверилась ей, прачке, — Мануш приняла эту чужую любовь, как принимают на сохранение чужое сокровище, и стала ей служить всем сердцем. Носила записки в складках простыней. Стерегла свидания. Лгала господам в лицо — спокойно, ровно, не моргнув, она, честная во всём прочем, ради этой чужой любви выучилась лгать, как не лгала ни для себя, ни для своих. Рисковала головой, домом, детьми — всем рисковала, и не ради выгоды, не ради платы, а ради того, чтобы хоть у кого-то, хоть однажды, на её глазах, сбылось то, что в её жизни не сбылось.

А потом у Мануш родилась дочь — поздняя, после ватаги сыновей, последняя, тринадцатая, — и называли её Саарназ. И в этой дочери Мануш с самого начала разглядела что-то особенное, своё, тайное, чего не было в других детях.

Много лет спустя её дочь Саарназ, уже сама всё понявшая про жизнь, спросит у неё: зачем? Зачем ты так рисковала всеми нами — ради чужой барышни?

И Мануш ответит — не сразу, помолчав, как молчала всегда перед тем, что было ей важно:

— Я на неё глядела и думала: пусть хоть у одной из нас будет по любви. Хоть у одной.

Вот и весь ответ. Через Ераз, чужую, барскую, далёкую, тихая прачка Мануш доживала то, чего сама не дожила, — и берегла чужое счастье так, как не умела побереечь своего, потому что своего у неё и не было.

Саарназ тянулась к тому, к чему бедной девочке тянуться не положено, — к буквам, к грамоте, к знанию. В доме лесничего грамоте знал только один из старших сыновей, Грайр, которого отдали было в монастырскую школу, — и за ним, за его тетрадами, за его бормотанием над книгой, девочка ходила хвостом, ловила, подбирала, перенимала украдкой, потому что учить девчонку никто и не думал: к чему девке буквы, девке нужны руки да спина.

И однажды поутру, прибирая у остывшего за ночь очага, Мануш увидела на серой золе кривые царапины — кто-то водил пальцем, выписывая знаки. Она присела на корточки, всмотрелась. Это были буквы. Неровные, кривые, но буквы, складывавшиеся в слово, — и слово это было имя её дочери: Саарназ. Девочка, подсмотрев у брата, выучилась тайком писать своё имя и выводила его пальцем по золе там, где другие дети малюют каракули, — а потом стирала, заметала следы, чтоб не заметили, не запретили, не засмеяли.

Мануш долго сидела на корточках перед остывшим очагом, глядя на имя дочери, выведенное в золе. Она была неграмотна и прочесть-то не умела — но узнала. Узнала по тому, как засветилось у неё в груди, что это — то самое, особенное, тайное, что отличало её последнюю девочку от всех. И она не стёрла буквы сразу. Посидела ещё, поглядела. А потом замела золу — но дочери ничего не сказала, не запретила, не выдала. Только стала с того дня тайком приглядывать, чтоб девочке доставались огарки лучины подольше, чтоб перепал ей лишний час у огня, когда все улягутся, — приглядывать молча, не подавая виду, как умеют только матери.

Потому что Мануш, сама лишённая всего, не захотела отнять у дочери это малое, краденое, никому не нужное богатство. Пусть будет, думала она. Пусть хоть у этой хоть что-то будет своё.

Стирать Мануш брала дочь с собой — к реке.

И это были, может быть, лучшие их часы, материнские и дочерние, — вдвоём у воды, за общей работой. Они стирали рядом, мать и девочка, на свой дом и на господский, полоскали бельё в студёной проточной воде, выкручивали вдвоём тяжёлые мокрые жгуты, развешивали на кустах и на верёвках, — и говорили, или молчали вместе, что иной раз дороже всякого разговора.

У реки был старый родник, обложенный замшелым камнем, и Мануш всякий раз, подходя, чуть кланялась ему и шевелила губами, будто здоровалась с кем-то невидимым. Однажды Саарназ спросила, кому она шепчет.

— Тем, кто до нас тут воду брал, — ответила Мануш. — Их давно нет, а вода та же, и камень тот же. Я им кланяюсь.

Девочка тогда не поняла — а слова запомнила на всю жизнь, как запоминают всё, чего ещё не доросли понять. И только состарившись, поняла: мать кланялась памяти. Тем, кто был до. Той длинной веренице безвестных женщин, что приходили к этому роднику с тем же бельём, с теми же натруженными руками, рожали, тянули, уходили в землю безымянно, — и связь с которыми Мануш, неграмотная прачка, чувствовала кожей, нутром, и читала, как умела, лёгким поклоном у воды. Это было её, бессловесное, незаписанное чувство рода — то самое, что потом, через дочь, через кольцо, через рассказанный за три вечера век, дотянется до правнучки и станет смыслом всей этой долгой истории.

Так Мануш, сама того не зная и не умея сказать словами, передавала дочери самое главное — раньше букв, раньше кольца: чувство, что ты не одна, что за тобой длинный ряд тех, кто был до, и что ты им чем-то обязана, и что однажды и сама станешь для кого-то — той, кто был до.

А потом Саарназ выросла, и пришёл срок отдавать её замуж.

В дом заслали сваху, сговорились о Севаке — парне из села покрепче, из семьи с землёй и виноградником, — ударили по рукам, и решила девичья судьба, как когда-то решила судьба самой Мануш: помимо неё, через её голову. И Мануш, выдавая дочь, делала то же, что сделали когда-то с ней, — отдавала пятнадцатилетнюю девочку в чужой дом, к чужому человеку, не спросив её сердца. Так шло из рода в род, и переменить этого Мануш не могла, не в её то было власти.

Но одно она могла. И сделала.

В ночь перед свадьбой Мануш расчёсывала дочери волосы. У Саарназ волосы были длинные, тёмные, тяжёлые, до пояса, — назавтра их заплетут по-новому, по-женски, в две косы, спрячут под платок, и девичьей косы не станет, как не станет и девичьей воли. Мать расчёсывала их в последний раз гребнем, прядь за прядью, медленно, и слёзы её падали дочери на волосы.

— Мама, — сказала Саарназ. — Тебе меня жалко?

Мануш ответила не сразу. Отложила гребень, помолчала, собираясь с тем, что хотела сказать и что, видно, обдумывала давно, всю дочкину жизнь.

— Жалко, — сказала она. — А ещё страшно за тебя и за тебя радостно — всё разом, так не бывает, а вот бывает. Слушай меня, дочка. Я тебе скажу, чего мне самой не сказали, а надо было.

И достала из сундука кольцо — рубин, гранёный цветком, тёмный, как капля старого, загустевшего вина, — то самое, что барышня Ераз надела ей когда-то при всём городе. Кольцо было велико для тонкого девичьего пальца, болталось; мать подложила под него ниточку, обмотала, чтоб держалось, не потерялось.

— Ераз стояла за свою любовь, против отца, — сказала Мануш тихо, держа руку дочери в своих растрескавшихся руках. — Я стояла за её любовь, рискуя всеми вами. Теперь твой черёд придёт стоять — за что, не знаю, это уж жизнь покажет. Но придёт. У каждой бабы в нашем роду приходит такой час. И тогда ты вспомни про кольцо. Что бы ни было — стой, Саарназ.

А потом Мануш сказала дочери ещё одно — самое главное, ради чего, может, и затеяла весь этот ночной разговор.

— Меня отдали, не спросив, и тебя отдаю, не спросив, — прости меня за это, дочка, не моя в том воля. Любви я не знала. Прожила век при добром, да чужом человеке, рядом, а не вместе, и так до старости и не узнала, каково это — по любви. А поглядела одним глазком на

чужую, на барышнину, — и затосковала на всю оставшуюся жизнь. И вот чего я тебе желаю, чего у Бога для тебя прошу: пусть хоть у тебя будет по любви. Не сразу, так после. Не с мужем, так с детьми. Но пусть будет. Пусть хоть у одной из нас, в нашем бабьем роду, будет по любви — по-настоящему, всем сердцем, не таясь.

Саарназ запомнила эти слова. Пронесла их через весь свой долгий, страшный век — через дом свекрови, через снег тридцать седьмого, через четыре похоронки, через всё. И когда подходило её время отдавать замуж уже своих дочерей, она в ночь перед свадьбой расчёсывала им волосы, доставала то же кольцо и говорила те же слова, что сказала ей мать, — и так оно и шло, из руки в руку, из ночи в ночь, через поколения: кольцо, и наказ стоять, и тихое материнское пожелание, чтоб хоть у кого-то сбылось то, что у самой не сбылось.

Саарназ повернула руку к свету. Рубин темнел на пальце, тяжёлый, чужой, взрослый. Она ещё не знала, за что ей придётся стоять и какой ценой. Она знала только, что мать смотрит на неё с такой любовью и такой тревогой, каких она в материнских глазах прежде не видела, и что кольцо это — не украшение, а что-то вроде наказа, вроде завета, который надевают на палец, чтоб не забыла.

Мануш не дожидала до правнуков, до всего того, что было потом. Она тихо состарилась и тихо умерла — так же неприметно, как жила, прачка при чужом доме, фиалка в тени, женщина, которой не дано было своего счастья и которая всю жизнь служила чужому. Её и похоронили скромно, и оплакали недолго, и забыли скоро, как забывают всех тихих, — и не осталось от неё ни портрета, ни строчки, ни могильного камня с именем, потому что неграмотная прачка не оставляет следов на бумаге.

Но след она оставила — другой. Через дочь, через кольцо, через буквы, которые не запретила, через поклон роднику, через слова, сказанные в ночь перед свадьбой, — Мануш протянулась дальше своей короткой памяти, дальше своей безвестной могилы, в самую глубь будущего, которого не увидела. И когда сто лет спустя её праправнучка Ануш, учительница, встанет в душном зале против целой толпы за одного затравленного человека, — это встанет в ней и Мануш тоже, тихая прачка, что когда-то рискнула всем ради чужой любви и научила дочь, что за любовь и за правду надо стоять.

Звезда гаснет, а свет идёт. Прачку Мануш давно забыли — а свет её всё шёл и шёл сквозь поколения, неугасимый, пока было кому передать и кому принять.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. СААРНАЗ

«Та, что выстояла»

Зима выдалась снежная — небывало для этих краёв, где снег ложился редко и таял за день. В тот вечер он валил трети сутки, завалил двор по самые окна, и в комнате стоял неподвижный белый свет, какой бывает только в большой снегопад.

Семнадцатилетнюю Ануш прислали посидеть с прабабушкой. «Посидеть» — так в семье говорили, когда не хотели произносить настоящее: побыть с той, что уже не встаёт, чтобы не осталась одна в ночь, которая может оказаться последней. Саарназ было девяносто восемь. Она сидела в кресле у окна, маленькая, сухая, прямая, и не обернулась, когда девушка вошла.

На столе у её локтя стояла шкатулка. Старуха открыла её привычным движением, не глядя, и достала кольцо. Даже при тусклой лампе камень вспыхнул так, что Ануш задержала дыхание: тёмно-бордовый рубин, гранёный в форме цветка, в потемневшей от времени оправе.

— Это кольцо старше меня, — сказала Саарназ. Голос у неё оказался не старческий — ровный, низкий. — А я, как видишь, очень старая. В восемнадцать оно перейдёт к тебе. Но до твоего восемнадцатого мне не дожить. Значит, передам раньше. А раньше — значит, придётся рассказать. Кольцо без истории — просто камень, его можно продать. Я не для того его сто лет берегла.

Ануш села на низкую скамеечку у её ног — сама не зная почему; она была уже не ребёнок, чтобы садиться в ноги.

— Все думают, я начну с письма, — сказала старуха, глядя на снег. — Вы все про него шепчетесь, думаете, я глухая. Не с письма. С девочки, которая хотела буквы. С той зимы, когда снега тоже было много, а мне было семь лет и был ещё царь.

За окном падал снег. В доме было тепло. И прабабушка Саарназ, прожившая от царей до того, что настало теперь, начала говорить — а вместе с её голосом раздвинулись стены тёплой комнаты, и проступил другой мир, холодный и давний, где всё только начиналось.

Но прежде чем уйти вслед за её голосом в тот давний холодный мир, надо сказать про девочку, что сидела на скамеечке у ног старухи, — про Ануш, которой всё это говорилось и которой предстояло всё это унести в себе.

Ануш было семнадцать, и она не хотела сюда ехать.

Жизнь её была обыкновенная, как у всех в их позднем времени: школа, скоро выпускные, подруги, тетрадки, тайком переписанные песни, мечты об институте в большом городе. Город был для Ануш всем — туда она рвалась из их тесного квартала, где все знали друг друга в лицо и через одного приходились родней, где соседки считали, кто что купил и за сколько, где невозможно было ни пройти незамеченной, ни сделать шаг по-своему. В городе, думала Ануш, она станет другой — свободной, новой, не оглядывающейся. Там не пекут лаваш в тонире, как в каменном веке, когда есть магазин. Там не говорят на смеси языков, мешая русские слова с армянскими. Там никто не спросит, чья ты внучка и за кого выходила твоя тётка.

Своей семьи она втайне стыдилась — той самой стыдливостью, которая нападает на молодых, рвущихся вперёд: всё старое, домашнее, корневое казалось ей отсталым, тёмным, неловким. Бабушки в платках, разговоры про урожай и про то, чья дочь засватана, поминки и свадьбы на полсела, древние обычаи, которых она не понимала и понимать не хотела, — всё это она про себя называла «деревней» и от всего этого мечтала уехать.

А прабабку Саарназ она побаивалась.

Маленькая, сухая, древняя, как сама земля, прабабка сидела на семейных сборах в углу, в своём кресле, накрытая платом, и почти не говорила — только смотрела. И Ануш всегда казалось под этим взглядом, что старуха видит её насквозь и не одобряет — все её городские мечты, всю её тайную стыдливость, всё, чего Ануш и сама про себя толком не понимала. Дети

сторонились прабабки, как сторонятся всего очень старого, что напоминает о смерти; сторонилась и Ануш. Знала про неё одно: что та при Сталине написала письмо самому Берии и не побоялась. Эту историю в семье рассказывали с гордостью, и Ануш ею даже хвасталась иногда в городе, среди подруг, — единственным, что годилось из всей «деревни» для города: вот, мол, у меня прабабка какая, Берии не побоялась. Но самой прабабки, живой, в углу, Ануш чуждалась и обходила стороной.

И вот её отправили к ней — посидеть три дня.

Мать собрала сумку, сунула учебники — «занимайся, ты не на каникулах», — и Ануш ехала через весь город на окраину, к последнему дому перед садами, с досадой и тихим страхом. С досадой — потому что пропадали три дня перед самыми экзаменами, и подружки собирались без неё, и вообще: сиди со старухой, которая, чего доброго, при тебе и помрёт, а ты не знай, что делать. Со страхом — потому что не знала, о чём с прабабкой говорить, как смотреть в эти всевидящие глаза, как пережить три долгих вечера наедине с той, кого побаивалась всю жизнь.

Она шла к этому дому, как идут отбывать повинность, — поскорее бы кончилось, поскорее бы назад, в свою настоящую жизнь, в школу, к подругам, к мечтам о городе.

Она ещё не знала, что эти три вечера и станут её настоящей жизнью. Что всё остальное — школа, город, подруги, мечты — окажется рябью на воде, а вот эти три зимних вечера у ног старухи — дном, на которое она встанет и с которого уже не сойдёт никогда. Что войдёт она в этот дом городской девочкой, стыдящейся своих корней, а выйдет — последним звеном цепи, носительницей рода, хранительницей кольца и памяти. Что старуха за три вечера перельёт в неё сто лет — со всеми смертями, силой, грехами, любовью, — и она, Ануш, понесёт это в себе дальше, и однажды, состарившись, передаст следующему колону под такой же снег.

Ничего этого она не знала, переступая в тот вечер порог жарко натопленной комнаты, где у окна, в кресле, под платом, сидела маленькая прямая старуха. Знала только, что отбывает повинность и считает часы до отъезда. А вышло так, что считать она скоро перестала — потому что старуха заговорила, и с первых же слов про девочку, что хотела буквы, всё в Ануш притихло и подалось вперёд, и она, сама не заметив как, опустилась на скамеечку у её ног и стала слушать.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ДЕВОЧКА, ЧТО ХОТЕЛА БУКВЫ

Дом лесничего Аршака стоял на склоне, спиной к лесу, лицом к долине, и был сложен из дикого камня, который сам Аршак с сыновьями натаскал с горы за два лета. Стены вышли толщиной в локоть с лишним — зимой держали тепло, летом прохладу. Крыша была плоская, земляная; по весне на ней пробивалась трава, и тогда туда забиралась пастись коза, и её гоняли оттуда всем домом, а она стояла на крыше, как на горе, и смотрела вниз с таким видом, будто это не её гонят, а она позволяет себя не трогать.

А за домом, выше по склону, начинался лес — и лес этот был отцовым царством, его службой, его кормильцем и его любовью.

Места были горные, суровые и прекрасные той строгой красотой, которой не залюбуешься праздну, а в которой надо жить и работать. Внизу лежала долина — узкая, зажатая меж хребтов, с рекой по дну, с лоскутами полей и садов, с лепящимися по склонам сёлами из такого же дикого камня, что и дом Аршака. А вверх от долины поднимались горы: сперва пологие, в садах и виноградниках, потом круче, в каменных осыпях и колючем кустарнике, а ещё выше — лес, тёмный, густой, взбиравшийся по склонам до самых гольцов, до голого камня, над которым только небо да орлы. Зимой горы стояли белые и грозные, и с них тянуло стужей; летом нижние склоны выгорали до желтизны, а лес наверху оставался зелёным и прохладным, и в нём держалась вода — родники, ручьи, без которых вся долина выгорела бы дотла.

Лес был дубовый, грабовый, буковый, а выше — сосна и можжевельник; по весне он стоял в дикой груше и яблоне, в кизиле, в боярышнике, и цвёл так, что склон делался бело-розовым, как невеста. Осенью наливался кизил, поспевали дикие груши, орех, и всё село шло в лес собирать, запасать, и Аршак знал в своём лесу каждое дерево, каждый родник, каждую тропу, каждую звериную лёжку. Водились там кабаны, что спускались ночами в сады и рыли, водились волки, что зимой подходили к самым хлевам, лисы, барсуки, дикие козы, а в чашах, по рассказам стариков, и медведь, и рысь, и леопард, которого никто живьём не видел, но следы которого Аршак будто бы однажды читал на снегу и долго потом молчал об этом, нахмурясь.

Аршак был лесничий — служил при казённом лесе, объезжал его и обходил, берёг от порубки, от пожара, от потравы, ловил порубщиков, отводил делянки, кому положено, клеймил деревья под рубку особым своим клеймом. Служба была одинокая, всё больше в лесу, в седле или пешком, в любую погоду, и оттого, должно быть, Аршак и сам сделался похож на свой лес — молчаливый, прямой, неспешный, знающий цену каждой живой твари и не любящий лишних слов. Он уходил затемно, возвращался затемно, пропадал в обходах по несколько дней, ночуя в лесных сторожках, и приносил оттуда то лесной мёд, то убитую козу, то выводок осиротелых лисят, которых девочкой выхаживала Саарназ. Лес кормил их и был им вместо большого мира: дом стоял на отшибе, до села — версты, и детство Саарназ прошло не на людях, а меж лесом и долиной, под этим огромным горным небом, в тишине, которую нарушали только ветер, вода да птица.

И отец, сам того не желая и не зная, выучил её читать этот мир, как сам читал его, — по следу, по приметам, по малому знаку. Девочка смотрела и научилась видеть: где прошёл зверь, где ночевала птица, к дождю или к вёдру закат, какая трава лечит, а какая губит. Это была первая её грамота — лесная, бессловесная, — и она легла в основу всего, чем Саарназ стала потом, потому что человек, выучившийся читать следы на снегу, уже наполовину готов выучиться читать и буквы, и людей, и саму жизнь.

В тот год снег лёг рано. В долине снег был гостем редким и недолгим — ляжет на день, на два, и сойдёт, обратившись в грязь и ручьи. Старики и за всю жизнь могли не увидеть настоящего, лежачего снега. А в ту зиму повалило всерьёз, по-горному, и легло, и не сошло, и коза,

привыкшая к своей крыше, теперь жалась в хлев и кричала оттуда обиженно, будто её обманули, будто у неё отняли законное.

Саарназ было семь лет, и она таскала воду.

Родник бил ниже по склону, шагах в трёхстах от дома, и над ним стоял старый хачкар — крест-камень, замшелый, вросший в землю по самое основание, и никто уже не помнил, кто его поставил и когда. Мать, набирая воду, всякий раз крестилась на него и шептала что-то под нос. Саарназ однажды спросила, кому она шепчет. «Тем, кто до нас тут воду брал, — ответила Мануш. — Их давно нет, а вода та же, и камень тот же. Я им кланяюсь». Девочка тогда не поняла, а слова запомнила, как запоминала всё, что говорила мать, — про запас, не зная ещё, что половина её ума соткётся из этих материнских обмолвок.

Она наклонила первое ведро под струю, дождалась, пока наберётся до краёв, отставила и подцепила второе. Вода ломала пальцы. Снег по краям родника был утоптан, жёлт, в следах — человеческих, козьих, птичьих, — и Саарназ, пока ждала, читала эти следы, как учил отец читать лес: вот соседская баба приходила с утра, вот птица скакала боком, вот собака. Всё на свете оставляет след, говорил отец, надо только уметь смотреть. Она умела. Это было её первое уменье, ещё прежде букв.

Полные вёдра на коромысле, плечо под перекладину, и — в гору. Подъём был такой, что взрослая баба кряхтела, а семилетней девочке полагалось ходить по многу раз на дню, потому что в доме на пятнадцать ртов вода уходила, как в песок: пили, мыли, стирали, поили скотину, мочили кожи, замешивали тесто. Саарназ научилась идти ровно, не расплёскивая, ставя ступню всей подошвой, и научилась не считать ходок, потому что если считать — отчаешься, а если не считать — оно само как-то выходит. Это было второе её уменье: не считать тяжесть, а просто нести.

У самого дома она встретила Грайра.

Он шёл снизу, от опушки, — возвращался из монастырской школы. Четыре версты лесом в один конец, и столько же обратно, зимой по темноте, и под мышкой у него, завёрнутые в кусок старой холстины от снега, были тетрадь и книга. Грайр был младший из двенадцати братьев, на четыре года старше Саарназ, и единственный в доме, кого отдали учиться. Отец выбрал его: голова быстрая, язык бойкий, а в поле от мальчишки всё равно толку пока мало — пусть выйдет из семьи хоть один грамотный, чтоб прочесть бумагу, написать прошение, не дать приказчику себя обвесить и обсчитать.

— Дай понесу, — сказала Саарназ и кивнула на свёрток. Не на вёдра — вёдра ей нести было велено, их она бы Грайру не отдала, даже если б он попросил. А свёрток с книгой она бы несла даром, хоть до самого дома, хоть весь день, лишь бы подержать в руках то, что внутри.

— Воду неси, — буркнул Грайр. Не зло — он был добрый, добрее всех братьев, — а просто устало и продрогши. — Книга не для девок.

Она не ответила. Она давно усвоила: на это отвечать нельзя. В доме, где двенадцать братьев, над огрызающейся девчонкой смеялись все разом, а над молчащей смеяться было нечего, и потому молчание было её щитом, единственным, какой у неё имелся. Она перехватила коромысло поудобнее и пошла за братом к дому, глядя ему в спину, на завёрнутую книгу под локтем, и думала о ней так, как голодный думает о хлебе за чужим стеклом.

А дом был большой, шумный, мужской — двенадцать сыновей у лесничего Аршака, и Саарназ меж ними одна, последыш, поздняя девочка, родившаяся, когда старшие уже сами были с усами. Оттого и росла она будто в двух разных семьях разом: одни братья годились ей в отцы, другие были чуть постарше, ровня в драке и в игре.

Старшие давно отделились от книжек и детских забав — жили мужским трудом, лесным и земляным. Двое самых старших уже и сами были женаты, привели в дом невесток, пошли у них дети, так что Саарназ доводилась тёткой племянникам, иные из которых были её не моложе. Старшие пропадали с отцом в лесу: ходили в обходы, валили и вывозили лес, кому

положено, рубили дрова на продажу, тесали, плотничали, ставили изгороди, били зверя. Руки у них были как корни — заскорузлые, тяжёлые, в смоле и мозолях; говорили мало, ели много, к вечеру валились спать, не чуя ног, а наутро снова в лес. Это были отцовы люди, лесные, молчаливые, и Саарназ их побаивалась и почитала, как почитают взрослых, чужих почти, мужчин.

Средние были другие — те, кому не досталось ни старшинства с его правом распоряжаться, ни младшего баловства. Эти искали себе места в жизни и в свете кто как умел. Один, рукастый, пошёл в подмастерья к кузнецу в большое село и приходил домой раз в месяц, пропахший угаром и железом, гордый своим ремеслом. Другой подался в извоз — возил на подводе чужие клади до города и обратно, повидал свет дальше всех в семье и привозил оттуда городские словечки и небылицы, которым дома не очень-то верили. Третий из средних, тихий и набожный, тянулся к монастырю, к книгам, к церковному пению, и отец, поглядев на него, отдал его в ту самую монастырскую школу, надеясь вывести в люди через грамоту, — но из учёбы у того вышло не больше, чем потом у Грайра: до дьячка дотянул, а выше не пошло.

Были и просто бойкие, шумные, ничем не примечательные парни, что заполняли дом гомоном, борьбой на полу, тычками, прозвищами, вечной возней и хохотом, от которого звенело в ушах. Они дразнили младших, таскали со стола, спорили из-за пустяков до драки и тут же мирились, бренчали на сазе, заглядывались на девок в селе, и весь их интерес был в силе, в удали, в том, кто кого переборет да перепляшет. Над Саарназ, мелкой, они почти не задумывались — так, шуганут мимоходом, отвесят щелчок, посадят на закорки да и забудут; для них она была мелочь, девчонка, что путается под ногами, пока не вырастет и не уйдёт в чужой дом.

И вот в этой ораве, в этом мужском, громком, тесном мире, где всё мерили силой да удалей, где девочка была существом второго разбора — будущей чужой женой, рабочими руками на выданье, — росла Саарназ, незаметная, тихая, глазастая. Её не обижали особо, но и не замечали особо; её доля была — таскать воду, нянчить племянников, подавать, прибирать, молчать. И в этой-то незаметности она и выучилась двум вещам, которые потом несла всю жизнь: смотреть и молчать. Смотреть — потому что на неё не смотрел никто, и можно было невидимкой наблюдать всех, читать людей, как отец учил читать лес. Молчать — потому что слово девочки в том доме всё равно ничего не весило, а молчание хотя бы не навлекало насмешки. Так из двенадцати шумных братьев, сами того не ведая, выпестовали они эту молчаливую, приметливую, упрямую, — ту единственную девочку, что переживёт и переупрямит их всех.

В доме было дымно, тесно и людно. Печь топилась, и сверх того посреди земляного пола краснел врытый в землю тонира — глиняная печь-колодец, в которой мать пекла лаваш. Мануш как раз пекла. Она раскатывала тесто на круглой подушке тонко, почти прозрачно, нашлёпывала на подушку и одним движением, перегнувшись через край тонира, лепила его на раскалённую глиняную стенку изнутри. Саарназ всякий раз, когда мать так перегибалась над огненным колодцем, замирала от страха: вот сейчас сорвётся, упадёт туда, сгорит. Но мать не срывалась — руки знали своё дело тридцать лет. Лаваш прихватывался к стенке, вздувался пузырями, румянился по краям, и Мануш снимала его длинным железным крюком и кидала на чистую холстину, где уже лежала горка — тонкие, как полотно, листы, от которых шёл пар и тот запах, печёного теста и дыма, что был для Саарназ запахом самого дома. Через всю долгую жизнь, во все её чёрные часы, она будет вызывать в памяти этот запах — и от него будет делаться чуть легче, как делается легче, когда кто-то родной положит руку на плечо.

— Воду слила в кадку? — спросила мать, не оборачиваясь.

— Слила.

— Грайр пришёл?

— Пришёл. Уроки сел делать.

Мать выпрямилась, отёрла лоб тылом ладони. Руки у неё были красные, потрескавшиеся, в трещинах, которые никогда не заживали до конца: едва затянется — и опять в воду, в щёлок, в стирку. Прачка при господском доме, Мануш стирала на чужих с рассвета, а воротясь, стирала

на своих до ночи, и других материнских рук Саарназ не помнила — только эти, в вечных трещинах, пахнувшие щёлочком и мокрым полотном. Девочка тогда не знала, что через несколько лет её собственные руки станут такими же. Что это не старость и не болезнь, а просто стирка, которая въедается в женские руки раньше старости и держится в них до могилы.

Грайр устроился у лучины, в углу, где посветлее. Лучина была воткнута в светец над лоханью с водой — чтоб упавший уголёк шипел и гас, не наделав беды, — и чадила, и бросала на стену длинную пляшущую тень от Грайровой головы. Он развернул холстину, достал тетрадь, обмакнул перо в самодельные чернила и стал выводить буквы, шепча их под нос, как велел монах-учитель: айб, бен, гим, да. Буквы выходили кривые, валкие, но это были буквы — те самые знаки, в которых, Саарназ это чуяла, заперто всё, что есть в книге на полке, весь чужой огромный мир.

Она поставила вёдра, слила воду в кадку, оглянулась — мать у тонира, спиной, занята. И тогда Саарназ тихо подошла и села напротив Грайра, по другую сторону лучины, на корточки. Села так, что тетрадь оказалась к ней вверх ногами: с его стороны буквы были правильные, а с её — перевёрнутые.

— Чего села? — не поднимая головы, спросил Грайр.

— Смотрю.

— Иди матери помоги.

— Помогла. Воду натаскала.

Он не стал гнать. Лень было, да и устал. Он вёл строчку за строчкой, бубнил названия букв, а Саарназ через дрожащий огонёк лучины ловила каждый знак — перевёрнутый, чужой — и переворачивала его в уме, и запоминала. Вот эта, с двумя ножками вниз, — «бен». Вот кружок с хвостиком — это «гим». Вот «то», вот «же». Она брала их по одному, по два за вечер, сколько успеет ухватить, пока её не сгонят спать или не позовут к делу, и прятала в себя, как прячут в подол краденые орехи. Это и было воровство. Она краля буквы у родного брата, через огонь, и краденое, как всякое краденое, было слаще дарёного и держалось в памяти крепче.

— Эту как? — не выдержала она однажды и ткнула пальцем в незнакомый знак.

Грайр поднял голову, посмотрел на неё через лучину долгим удивлённым взглядом.

— «Ини», — сказал он медленно. — А ты почём спрашиваешь? Ты ж смотришь только.

— Смотрю и спрашиваю.

Он хмыкнул, но ответил. И в следующий вечер ответил. Сначала ему было смешно — как смешно бывает, когда кошка тянется лапой к нитке: не всерьёз, а забавы ради. Потом стало интересно. Он стал нарочно её проверять — покажет букву, спросит, какая; покажет слово — прочтёт ли. Тигран и Аршалуйс, средние из младших, прознав про забаву, тоже пристали: спорили на грушу, что не прочтёт, и Саарназ читала, и выигрывала их груши, и ела при них, чтоб видели. К концу той зимы — ей ещё не сравнялось восьми — она читала бойчее Грайра, который ходил в школу два года. Он учился из-под палки, а она краля, и в этом была вся разница.

Мать заметила первой. У прачки руки в воде, а глаза везде. Однажды поутру, прибирая у остывшего за ночь очага, Мануш увидела на серой золе кривые царапины — кто-то водил пальцем, выписывая знаки. Она присела на корточки, всмотрелась.

— Это что? — спросила она тихо.

Саарназ застыла у порога с пустым ведром. Сердце упало. Но в материнском голосе не было гнева — было удивление, осторожное, как у человека, что нашёл в своём доме незнакомую вещь и не поймёт, откуда она.

— Это «Саарназ», — сказала девочка, помолчав. — Моё имя. Грайр позавчера написал на тетради, а я запомнила. Вот и... написала.

Мануш долго смотрела на каракули в золе — на имя своей дочери, выведенное детским пальцем там, где другие дети рисуют просто палочки и кружки. Потом провела по ним ладо-

ню, стирая, и зола сровнялась, и имени не стало. Саарназ сжалась, ожидая брани или подзатыльника.

А мать сказала не то. Мать оглянулась на дверь, в которую могли войти отец или старшие, придвинулась ближе и проговорила тихо, почти шёпотом:

— Не при отце. Слышишь меня? И не при старших братьях. Хочешь учиться — учись. Но чтоб никто не видел. Это будет наше с тобой. Только наше.

— Почему нельзя? — шёпотом же спросила Саарназ.

Мать помолчала, подбирая, как объяснить семилетней то, чего та ещё не могла понять.

— Потому что девке грамота — что лишний палец, — сказала она наконец. — Все на него смотрят и думают: чего это у неё лишнее. Пойдёт по селу слух: лесничего дочь читает, как дяк. А кто ж умную возьмёт? Мужу не нужна жена, которая больше его знает. — Она помолчала. — Я тебе зла не желаю, дочка. Я тебе добра желаю. А добро твоё пока — чтоб никто не знал. Поняла?

Саарназ кивнула, хотя поняла не всё. Поняла главное: то, что для неё было светом, для других почему-то было её бедой, её изъяном, и свет этот надо прятать, как прячут под фартуком кусок хлеба для голодного. Так, семи лет, она получила от неграмотной матери первый в своей жизни тайник — и первый женский урок: что у женщины может быть своё, спрятанное, недоступное мужчинам, и что иногда только в этом спрятанном она и принадлежит себе.

Вечером вернулся из лесу отец.

Аршак вошёл, внося с собой холод и запах хвои, снял ружьё, повесил на колок, сел к столу. Был он высок, костист, молчалив; борода в инее, руки в ссадинах и занозах, под ногтями смола. Ели молча — у них вообще ели молча, отец не любил застольной болтовни. Потом, когда убрали, он остался сидеть у лучины и кивнул Грайру:

— Читал нынче в школе?

— Читал, отец.

— Прочти, послушаю.

Грайр взял с полки книгу — ту самую монастырскую книгу, что днём лежала под образами, в самом чистом углу дома, рядом с иконой и лампадкой. Раскрыл наугад, повёл пальцем по строке и стал читать вслух — протяжно, запинаясь, спотыкаясь на трудных словах. Отец слушал, опустив голову, положив на стол свои тяжёлые руки. А Саарназ сидела в тени, у стены, и губы её беззвучно шевелились: она читала вместе с братом, про себя, забегая вперёд, и там, где он застревал, она уже знала, что дальше.

Грайр дошёл до длинного церковного слова и стал. Замолчал, помычал, поводил пальцем взад-вперёд.

— Ну? — сказал отец, не поднимая головы.

— Забыл, — пробормотал Грайр. — Трудное.

— «И воздвиже», — тихо сказала Саарназ из своего угла. Само вырвалось, прежде чем она успела прикусить язык.

В доме стало тихо. Только лучина потрескивала да за стеной шуршал, оседая, снег. Отец медленно поднял голову и повернулся к тёмному углу, где сидела дочь.

— Что ты сказала?

Назад слова было не взять. Саарназ похолодела вся, до пяток, и в первый миг хотела сказать «ничего», смолчать, спрятаться. Но отец смотрел прямо на неё, и врать под этим взглядом она не смогла.

— Там написано «и воздвиже», — сказала она тише, почти шёпотом. — А дальше — «руце свои».

Отец долго молчал. Потом встал, тяжело, подошёл к Грайру, взял у него из рук книгу — не вырвал, а взял бережно, своими большими, в занозах, руками, которыми привычнее было держать топор да ружьё, чем книгу, — и положил её перед дочерью, в тень, на лавку.

— Читай, — сказал он.

Саарназ посмотрела на страницу. Буквы поплыли — от страха, от того, что все смотрели на неё: и отец, и Грайр, и средние братья, оторвавшиеся от своих дел, и мать у тонира застыла с крюком в руке. Девочка сглотнула, склонилась к лучине и стала читать.

Она читала ту страницу, которую сама никогда не разбирала вслух — только глазами, тайком, в редкие пустые часы, когда оставалась в доме одна. Язык был старый, церковный, тяжёлый, не тот, на котором говорят люди, и слова в нём были непривычные, длинные. Но она цеплялась за каждое, как цеплялась за камни на крутом подъёме с вёдрами, и не сорвалась, не сбилась, прочла строку, и другую, и третью. Голос у неё сперва дрожал, а потом выровнялся, потому что за чтением страх отступил, как отступал он всегда, когда руки или ум были заняты делом.

Отец слушал стоя, опустив голову. Лицо у него было такое, какого Саарназ не видела у него ни прежде, ни после, — не строгое, не сердитое, а растерянное, почти беспомощное, будто он смотрел на что-то большее, чем мог охватить, и не знал, что с этим делать. Дочь, последняя из тринадцати, девчонка, которой доставались обноски и последнее место у очага, читала по книге то, на чём спотыкался сын, отданный в учение за деньги и годы.

Она дочитала до точки и замолчала. Подняла глаза.

Отец постоял ещё. Потом наклонился, взял книгу, отнёс её обратно на полку, под образа, положил на прежнее чистое место, поправил, чтоб лежала ровно. И сказал, не оборачиваясь, ни к кому в отдельности, в тёмный угол избы:

— Грайр так хорошо не читал.

И вышел в холодные сени, и было слышно, как он там завозился, гремя чем-то ненужным, будто искал предлог не возвращаться сразу.

Мать у тонира не подняла головы, но Саарназ увидела, как у той дрогнули и опустились плечи. Грайр сидел красный, уставившись в свою тетрадь, и не знал, гордиться ему или обижаться. А Саарназ осталась в своём углу, в тени, и сердце у неё колотилось так, что, казалось, слышно всей избе, и она сама не понимала, чего в ней больше — страха или такого счастья, от которого щиплет в носу и хочется не то плакать, не то смеяться.

Отец не сказал «учись». Не сказал «молодец, дочка». Не сказал и «брось это, не девичье дело». Он сказал только, что она читает лучше сына, на которого потрачены деньги и годы школы, — сказал и ушёл, и ничего не переменял, и всё осталось как было: книга на полке, вёдра у порога, стирка, тонир, женская доля впереди. Но и эти три слова, брошенные в тёмный угол, были больше, неизмеримо больше, чем доставалось девочкам в том доме и в то время. Потому что отец её увидел. На один вечер, на три слова — увидел. И этого ей хватило надолго.

Ночью она долго не могла уснуть. Лежала на своём месте у стены, под старым тулупом, слушала ровное дыхание братьев, вой ветра в трубе, шорох оседающего на крыше снега — и беззвучно, одними губами, повторяла буквы, все, какие успела украсть за зиму. Их набралось уже много. Они были при ней, в ней, под закрытыми веками, и казалось — их не отнять, не отобрать, как не отобрать то, что выучил наизусть.

Она ещё не знала, что буквы можно отнять и так — не вынимая из головы, не запретом и не криком. Но это будет после, через год, через два. А пока за стенами каменного дома валил небывалый снег, в тонире дотлевали угли, пахло остывающим лавашем, ровно дышали двенадцать братьев, и девочка семи лет засыпала счастливая, с краденым богатством под закрытыми веками, и снилось ей, должно быть, что-то хорошее, потому что губы её во сне ещё шевелились, дочитывая недочитанное.

Буквы у неё отняли не вдруг и не запретом. Никто не сказал ей: «брось, не смей». На неё просто навалили работу — столько, что не осталось ни вечера, ни лучины, ни сил поднять глаза к полке.

Это вышло само собой, как выходит само собой, что подросшую телушку запрягают: пришло время — и запрягли. Саарназ сравнялось девять, потом десять, и с каждым годом на неё грузили больше, и это называлось красиво — «входить в женскую долю», будто доля была дом, в который входят с порога, а не воз, под который подставляют плечо.

Сперва была вода — вода была всегда, сколько она себя помнила. Потом к воде прибавилась стирка.

Стирку тех лет нынешние и вообразить не сумеют. Не было ни машины, ни кнопки, ни мыла, какое теперь, — был щёлок. Золу из-под печи заливали кипятком, отстаивали, сливали едкую жижу — она-то и разъедала грязь, она же разъедала и руки. Бельё замачивали в этом щёлоке, потом несли к реке, и там, стоя на мостках или на камнях, колотили вальком — тяжёлой плоской колотушкой, — выбивая грязь вместе с водой. Колотили, выкручивали так, что трещали суставы, полоскали в реке, в которой зимой стыла рука по локоть, и развешивали на морозе, где бельё вставало колом, делалось как жёсть и резало пальцы по живому.

Мануш брала дочь к реке, и они стирали вдвоём — на свой дом и на господский. И Саарназ, которой едва минуло десять, колотила вальком наравне с матерью, и руки у неё к двенадцати годам стали в точности материнские: красные, в цыпках, в трещинах, что не успевали зажить, потому что назавтра снова была вода, снова щёлок, снова мороз. Эти белые рубцы на пальцах она пронесёт через всю долгую жизнь, до глубокой старости, и, когда какая-нибудь правнучка примет их за старческие, она покачает головой: это не старость, дитя, это стирка, она въедается в женские руки раньше всякой старости и не выходит до самой могилы.

После стирки пришла глажка — тяжёлым чугунным утюгом, внутрь которого клали раскалённые угли; гладить надо было ровно, не давая золе высыпаться на белое, не прожигая, и рука к вечеру немела от тяжести. После глажки — готовка на всю ораву, с рассвета: пятнадцать ртов, и каждый рот трижды на дню. После готовки — огород, прополка, окучивание, поливка из тех же вёдер, что таскались из родника. После огорода — скотина: подоить, напоить, вычистить, задать корму. И снова вода, и снова стирка, и так по кругу, без края и без отдыха, от темна до темна.

Саарназ научилась делать всё, и делать хорошо — потому что плохо сделаешь, переделывать тебе же, да ещё получишь по рукам. Она была так занята с утра до ночи, что для букв в дне не оставалось ни единой щели. Грайр тем временем вырос, школу бросил — нужны стали руки в лесу да в поле, не до ученья, — и монастырская книга на полке под образами стала никому не нужна. Она стояла там, покрываясь пылью, как стоит надгробие над тем, чего не случилось, — памятник несбывшемуся грамотею, которого в доме лесничего так и не вышло: ни из Грайра, бросившего ученье, ни из Саарназ, которой ученье было заказано.

И всё же раз в месяц, а то и реже, девочке выпадал час. Случалось так: все в поле, мать ушла с бельём к реке, малых нет, дом пуст и тих. Тогда Саарназ, прислушавшись, не идёт ли кто, снимала с полки книгу, сдувала с неё пыль, садилась поближе к свету и читала.

Читала жадно, торопливо, как пьют украдкой запретное вино, — одним глазом в страницу, другим на дверь, ухом на дорогу. Книга была церковная, язык в ней старый, тяжёлый, не тот, на котором говорили люди, и половины Саарназ не понимала. Но она цеплялась за каждое слово, за каждую строчку, потому что это была пища, а она голодала. Голод по буквам она знала так же телесно, как голод по хлебу, бывавший в иные годы, и, если бы её спросили, который мучительнее, она не взялась бы ответить. От хлебного голода сводило живот. От буквенного — что-то сводило внутри, повыше живота, там, где, говорят, живёт душа.

Однажды её застали.

Она так ушла в чтение, что не услышала шагов на крыльце. Подняла глаза от страницы — а в дверях стоит отец.

Аршак вернулся из лесу раньше времени — не то занемог, не то управился быстро. Стоял в дверях, в шапке, запорошённый снегом, и смотрел на дочь, которая сидела у окна с раскрытой книгой на коленях.

Саарназ застыла, как застывает пойманный за руку вор. Она и была вор: крала время, которого у неё не было, и буквы, которые ей не принадлежали. Книга жгла колени. Бежать было некуда, спрятать поздно. Она ждала, что отец закричит, что вырвет книгу, ударит, — и сжалась вся, втянула голову.

Отец не закричал. Он медленно стянул шапку, обил о косяк снег, прошёл в избу. Постоял над дочерью. Потом протянул руку — и Саарназ, обмерев, отдала книгу.

Аршак подержал её, тяжёлую, в своих больших ладонях, поглядел на раскрытую страницу, которую сам разобрать не умел, на эти чёрные ряды знаков, что были для него глухой стеной, а для дочери — отворённой дверью. И спросил — негромко, без сердца в голосе:

— Что тут написано?

Саарназ перевела дух. Взяла книгу обратно дрожащими руками, нашла строку, на которой её застали, и прочла вслух. Голос её сначала спотыкался, потом выровнялся. Отец слушал, опустив голову, как слушал когда-то её чтение в тот зимний вечер, год или два назад. Только теперь они были в избе одни, без братьев, без матери, и оттого всё было иначе — серьезнее, тише.

Она дочитала фразу, остановилась, подняла глаза.

Отец помолчал. Потом взял у неё книгу, подержал в тяжёлых руках, вернул на место под образа. И, не оборачиваясь, глядя на икону, сказал ровно, как говорят давно решённое:

— Грамота тебя замуж не выдаст. Работа выдаст.

И вышел задать корму скотине.

Это было всё. Не «учись» — но и не «не смей». Не похвала — но и не брань. Приговор, спокойный, как зарубка на дверном косяке, по которой меряют не рост, а судьбу. Грамота не выдаст замуж. Это значило: то, что в ней светилось и рвалось наружу, в глазах отца было не достоинством, а помехой, лишним грузом, который придётся оставить за порогом отчего дома, как оставляют детскую одежду, из которой выросли. Работа выдаст. Это значило: вот твоя дорога, вот твоё приданое — руки, спина, умение тащить.

Саарназ убрала за собой, села к веретену — мать наказала напрясть, — и до самого вечера пряла, и слёзы капали на нитку, и она их не утирала, чтоб не сбиться, и нитка от того, может, выходила неровной. Она не понимала тогда толком, отчего плачет. Отец ведь не обидел её, не ударил, даже книгу не отнял насовсем — поставил на место, бери, мол, когда время будет. А время не наступало. Время съедала работа, и отец это знал, и потому мог позволить себе не запрещать: запрет ни к чему, когда сама жизнь устроена так, что для запретного не остаётся ни часа.

Книгу она после того доставала всё реже. Не потому, что отец запретил, — а потому, что выросла, и работы стало ещё больше, и часы пустого дома, прежде выпадавшие хоть изредка, и вовсе перевелись: теперь, если все уходили, оставалась она и малые, за которыми глаз да глаз, или она и скотина, или она и стирка. Буквы, выученные крадучись, остались при ней, никуда не делись из головы — но легли на дно, как ложится на дно реки камень, и сверху потекла, побежала обычная мутная вода будней, и со стороны казалось, что и нет на дне никакого камня, гладкая вода, как у всех.

Так их и отняли. Не вынимая из головы. Просто завалив сверху работой так, что не видно стало.

Она и сама почти поверила, что забыла их, что вода взяла своё. Пройдёт без малого тридцать лет, прежде чем камень на дне понадобится, прежде чем она разгребёт всё, что нанесло сверху, и достанет со дна свои краденые буквы, и они спасут ей мужа. Но до того было ещё

далеко. А пока пятнадцатая зима её жизни кончалась, сходил последний снег, и в дом лесничего заслали сваху.

А через два дня сваха привела в дом жениха на смотрины, зарезали барана, и началось то, что у девушек называлось коротко и страшновато — «войти в женскую долю».

Жениха звали Севак, и до свадьбы Саарназ видела его один-единственный раз — на смотринах, да и то мельком.

Смотрины устроили, как положено: жених с роднёй приехал «поглядеть невесту», невесту вывели, нарядив в лучшее, и она стояла посреди горницы, опустив глаза, как велит обычай, и не смела поднять головы. Глядеть полагалось им на неё, не ей на них. Она успела разглядеть только сапоги да полы кафтана, а когда осмелилась на миг вскинуть ресницы — увидела, что жених высок, плечист, что лицо у него крупное, спокойное, и что руки большие, лежат на коленях тяжело. Вот и всё, что она узнала о человеке, с которым ей предстояло прожить сорок с лишним лет, родить шестнадцать детей и схоронить восьмерых.

Севак был на семь лет старше её, из соседнего села, из семьи покрепче, чем у лесничего: у его отца была своя земля, не господская, свой виноградник, свой скот. По меркам Аршака, дочь делала хорошую партию — шла из служилых в хозяйские, из безземельных к земле. Мать жениха, придиричивая старуха по имени Сатеник, оглядела Саарназ так, как оглядывают на ярмарке тёлку, и осталась, по-видимому, довольна: невеста была худа, но крепка костью, рукаста, приучена к работе, а что грамотна — про то на смотринах, по счастью, не зашло речи, не то могло бы и расстроиться дело.

Саарназ, разумеется, не спросили, хочет ли она. Этого вопроса в те времена и в тех краях не существовало вовсе — он был так же немислим, как буквы для девочки. Спрашивали о другом, о важном: о приданом, о дне свадьбы, о том, сколько баранов резать и кого звать. Невесту готовили к свадьбе, как готовят к большому празднику не гостью, а главное угощение: мыли, наряжали, выставляли напоказ, обсуждали её стати и недостатки вслух, при ней, будто она не слышит или не понимает.

Отец сказал о женихе коротко:

— Севак — человек серьёзный. С ним не пропадёшь.

Откуда он это знал, видевши жениха два раза, Саарназ не понимала. Но так говорили, и все верили, и она поверила тоже, потому что больше верить было нечему.

Мать радовалась и плакала разом. Радовалась, что дочь пристроена, и хорошо пристроена; плакала — по-своему, тихо, про себя.

А до свадьбы было сватовство, и оно тоже шло по чину, заведённому от дедов, в котором всё имело смысл и всё было не зря.

Сперва в дом прислали посредников — немолодых, степенных, речистых; они пришли будто бы по делу, обиняками, не сразу о главном, потому что прямо о таком не говорят, — посидели, попили, повели разговор издалека: у вас, мол, товар, у нас купец, у вас голубка, у нас голубь. Отец Саарназ, как положено, в первый раз отказал — не потому, что не хотел, а потому, что сразу соглашаться неприлично, надо показать, что дочь не залежалый товар, что её ценят. Сваты пришли во второй раз, и в третий, и лишь тогда ударили по рукам. Саарназ при этом не было и быть не могло: её судьбу решали без неё, как решали судьбу всякой девки, и спросить её мнения никому не пришлось бы в голову — всё равно что спросить мнения у телушки, которую сводят на базар.

Собирали приданое — то, с чем девушка входит в чужой дом, чтоб не с пустыми руками, чтоб не попрекнули. И тут уж семья выкладывалась по всей силе и сверх силы, потому что по приданому судили о роде: что за приданым, то и за невестой. Складывали в кованный сундук, окованный по углам железом, — стёганные одеяла, перины, подушки в наволочках с вышивкой; полотно, тканное своими руками долгими зимами; платки, кофты, передники; медную посуду — котлы, тазы, кувшины-карасы, начищенные до жара; шерсть, нитки, веретено. Поверх всего

клали ковёр — главную гордость, тканый руками невесты и её матери, не один год, по узору, что переходил из рода в род и читался знающими, как читается грамота: вот это древо жизни, вот это бегущая вода, вот это обереги от дурного глаза. Ковёр стелили потом в новом доме на самое видное место, и всякая гостья прежде всего косилась на него — оценивала и невесту, и её мать, и весь её род по тому, как лёг узел к узлу.

А свадьбу сыграли по обычаю, шумно, на три дня, на полсела. Резали скотину, варили в котлах на весь двор, гнали тутовую водку и несли своё вино. Жениха брили при гостях — обряд, в котором было своё значение: прощание с холостой волей. Невесту наряжали женщины, пели ей грустные песни о том, как покидает она отчий дом, и Саарназ под этими песнями плакала — не притворно, как положено по обряду, а вправду, потому что и впрямь уходила от всего, что знала, в чужое и неизвестное. Молодых осыпали на пороге зерном и мелкими монетами — чтоб плодородие и достаток; клали им на плечи лаваш — чтоб дом был полон хлеба; давали лизнуть мёду — чтоб жизнь была сладкая; разбивали у ног тарелку — на счастье. Через всё это Саарназ прошла пятнадцати лет, чужая невеста на собственной свадьбе, наряженная, оплаканная, осыпанная зерном, отданная.

А наутро третьего дня подали арбу — увозить молодую в дом мужа.

Мать в последний раз подошла к ней, поправила платок, поправила на пальце кольцо с подложенной ниткой, чтоб не сползло, и обняла — крепко, коротко, как обнимают, когда боятся разрыдаться и сказала.

— Тебе будет хорошо или плохо — это ещё неведомо, это больше от тебя самой зависит, чем ты думаешь. Севак, дай Бог, не обидчик, и дом крепкий, и ты работница — проживёшь. Жалко мне, что ты уходишь грамотная, а жить будешь, будто неграмотная, — сказала она тихо. — Мужу твои буквы не нужны. Дому не нужны. Свекрови и подавно. Ты их спрячешь поглубже, как я тебя учила прятать, — и, может, забудешь совсем. Вот это мне жалко, дочка. Что ты столько украла, столько билась — а придётся всё вернуть. Будто и не было.

Саарназ промолчала. Она и сама это знала, чувствовала наперёд, и сказать на это было нечего.

— А ты не забывай, — прибавила вдруг мать, понизив голос, словно открывала тайну. — Слышишь? Что бы ни было — не забывай, что умеешь. Спрячь, да не выбрось. Пусть лежит на дне. Может, и не понадобится вовек. А может, придёт час — и спасёт. Грамота, она такая: лежит-лежит без дела, как ненужная, а в чёрный день вдруг и пригодится, когда уж ничего другого не останется. Береги её, как кольцо берегла. Это два твоих приданных, которых свекровь не сочтёт и в опись не впишет: кольцо на руке да буквы в голове. Остальное — горшки да холсты — это так, это прах.

Саарназ запомнила эти слова. Запомнила накрепко, на всю жизнь, хотя в ту ночь они показались ей странными: к чему буквы замужней бабе? А мать как в воду глядела. Через тридцать лет, в самый чёрный день, именно эти два приданных — кольцо да буквы — и окажутся при ней, когда всё остальное отнимут.

Саарназ села в арбу. Возница тронул, колёса закрипели по подмёрзшей дороге. Она сидела прямая, как велела мать, и не оглядывалась — оглядываться было нельзя, дурная примета. Но краем глаза, пока арба разворачивалась, успела захватить в последний раз: каменный дом на склоне, дым над крышей, мать у калитки, и за домом — тёмную стену леса, где отец читал ей следы и где она в первый раз услышала, что всё на свете оставляет след.

Потом дорога повернула, дом скрылся, и началась другая жизнь.

Дом мужа встретил её настороженно, как встречает всё чужое.

Это был обычный дом тех мест и той поры — приземистый, сложенный из нетёсаного камня, с плоской земляной кровлей, которую по весне укатывали каменным катком, чтоб не текла, и на которой летом сушили фрукты, а в жару и спали. Окна маленькие, глубоко сидящие в толстых стенах, — летом за ними прохлада, зимой тепло. Посреди главной комнаты,

в полу, — тонир, сердце дома, печь и очаг разом: в нём пекли, у него грелись, вокруг него и шла вся жизнь. Дым уходил через отверстие в кровле, и потолочные балки за десятилетия прокоптились дочерна, лоснились, как смоль. Пол земляной, глинобитный, его подмазывали и подметали по нескольку раз на дню. Вдоль стен — тахта, низкие лежанки, застеленные паласами и теми самыми коврами, в которых вся гордость дома; в стенных нишах — свёрнутые на день постели, медная утварь, нехитрая посуда. В красном углу — иконы либо, у кого победнее, простой крест, лампадка, пучок освящённой вербы. Вот и всё убранство — ничего лишнего, всё для дела, всё нажитое горбом и хранимое бережно.

И в этом доме, среди чужих ей пока стен, прокопчённых балок и чужих ковров, ей предстояло теперь жить — младшей, бесправной, на испытании у свекрови, которая будет придирчиво смотреть, так ли невестка месит, так ли метёт, так ли почитает старших. Невестка в доме мужа первые годы — не хозяйка и не гостья, а работница на пробу, и горе ей, коли не угодит. Саарназ это знала, шла в это с открытыми глазами и твёрдым решением: выстоять и тут. Стой прямо. Ты умеешь.

Человек по имени Севак, которого она видела однажды и мельком, вёз пятнадцатилетнюю Саарназ в дом, где ей суждено было стать женой, матерью, хозяйкой, вдовой, легендой и одинокой старухой, — вёз в её судьбу. А она ехала, держа спину прямо, и под платком у неё были спрятаны краденые буквы, и на пальце под ниткой — рубиновое кольцо, и оба эти приданных она везла с собой, сама ещё не зная, что они и есть единственное, что у неё никто никогда не сможет отнять до конца.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДОМ, КОТОРЫЙ ОНА ПОСТРОИЛА

Дом Севака стоял в большом селе, раскинувшемся в долине, и был не чета лесной избе на склоне. Здесь было хозяйство: дом просторный, в две комнаты с сенями, крытый не землёй, а тёсом; при доме — двор, хлев, амбар, а за двором сбегал по пологому склону виноградник, ровными рядами, подвязанный, ухоженный, и были ещё пашня, и огород, и сад. По меркам, в которых росла Саарназ, это было богатство, основательность, твёрдая земля под ногами.

Но земля землёй, а правила в доме держала не земля и не муж. Держала их свекровь — мать Севака, старуха Сатеник.

Саарназ она встретила в первый же день так, что та запомнила на всю жизнь. Не обняла, не сказала «здравствуй, дочка», не поднесла, как водится у добрых свекровей, хлеба-соли новой невестке. Сатеник обошла молодую кругом, как обходят на ярмарке скотину, которую думают купить. Оглядела с головы до ног. Потом, не чинясь, пощупала ей руки — выше локтя, проверяя, есть ли мясо, крепка ли кость, — повертела, будто прикидывая, сколько та выдюжит работы. И обернулась к сыну, и сказала при невестке, будто той тут и не было:

— Худая. Но кость рабочая. Выправится.

И отвернулась к своим делам.

Вот так. Не человек вошёл в дом, не жена сына — вошла пара рабочих рук, и хозяйка проверяла качество приобретения. Саарназ стояла, опустив глаза, держа спину прямо, и глотала это молча. Она уже знала, что молчание — её щит. В отчем доме над огрызающейся девочкой смеялись двенадцать братьев; здесь над дерзкой невесткой обрушилась бы свекровь, и не словом, а делом — попрёками, работой, мелкими казнями, на которые так изобретательны старухи, державшие большие дома.

И начался первый год — год, который Саарназ потом, вспоминая, называла не годом замужества, а годом со свекровью. Потому что мужа она в тот год почти не видела: Севак был в поле, в разъездах, на сходах — мужское дело уводило его из дому затемно и приводило затемно. А Сатеник была всегда тут, рядом, и глаз у неё был не любящий, как у матери Мануш, а мерящий, оценивающий, выскивающий изъян.

А тяжелее всякой работы было другое, о чём Саарназ не говорила никому, потому что некому было говорить, — тяжела была чужбина.

Ведь по сути дела она, пятнадцати лет, осталась одна среди чужих. Родной дом, лесная изба на склоне, где она знала каждую щель, каждый запах, где была мать, и отец, и братья, и лес за стеной, и родник с хачкаром, — всё это в один день сделалось далёким, отрезанным, чужим, куда нет дороги назад, потому что замужнюю в отчий дом не возвращают. Её вынули из её жизни, как вынимают деревце с корнем, и пересадили в чужую землю, к чужим людям, и велели прижиться, и не спросили, больно ли. А было больно. По ночам, лёжа на новом, нелюбимом ещё месте, под чужой крышей, она тосковала так, что хоть вой, — по матери, по её рукам, по её голосу; по братьям, по их вечной возне и теплу большой семьи; по лесу, по тишине, по тому, как пахло дома дымом и хлебом. Здесь всё пахло иначе. Здесь и хлеб был не тот, и вода не та, и говорили чуть по-другому, и смеялись над тем, над чем дома не смеялись.

И не было тут ни одной живой души, кому она была бы своя, кого бы любила и кто бы любил её. Свекровь испытывала, золовки косились, муж пропал в поле и почти не говорил с ней. Она была в этом доме как нанятая работница, у которой нет своего угла, своей минуты, своего слова, — а ведь дома, при всей бедности, был у неё свой тёмный уголок и краденые буквы в нём, была мать, что ночью гладила по голове. Тут гладить по голове было некому. Тут надо было вставать раньше всех, ложиться позже всех, работать больше всех — и при этом ещё чувствовать на себе вечный оценивающий взгляд: годна ли, не оплошала ли, оправдала ли ту цену, что за неё дали.

И она плакала — но так, чтоб никто не видел, потому что слёзы тут были не в чести, слёзы тут сочли бы слабостью, изъяном в товаре. Плакала ночью, беззвучно, уткнувшись в жёсткую подушку, выплакивала тоску — а наутро вставала с сухими глазами и прямой спиной, и шла к тониру, и месила, и таскала воду, и никому, ни единым взглядом не показывала, чего ей это стоит. Она рано поняла, ещё в родном доме, а тут затвердила накрепко: горе, показанное людям, делает тебя слабой в их глазах, даёт им власть над тобой; а горе, спрятанное, — твоё, и только твоё, и никто не подберёт к нему ключа. И она прятала. Запирала тоску в себе, как когда-то запирала буквы, и снаружи была ровная, работающая, неулыбчивая девочка-невестка, по которой никто не догадывался, что внутри у неё ночами плещет целое море недетского, невыплаканного.

Иногда ей хотелось всего одного, простого, до дрожи: чтоб кто-нибудь — всё равно кто — обнял её и сказал «не бойся, ты не одна». Но обнять было некому, и говорить такого тут было не заведено, и Саарназ сама себе, лёжа в темноте, шептала это беззвучно, одними губами, как когда-то повторяла буквы: не бойся. Ты выстоишь. Ты сильная. Так она научилась быть сама себе и матерью, и опорой, и утешением — потому что других опор не было, а упасть было нельзя. И эта горькая наука — самой себе быть стеной, не ожидая стены ни от кого, — легла в неё в тот первый год прочнее всех других, и пронесла её потом через всю жизнь, и стала и силой её, и проклятием: силой — потому что не сломалась; проклятием — потому что разучилась прислоняться к другому, принимать чужое плечо, и всю жизнь потом несла одна то, что можно было бы нести вдвоём.

Сатеник вставала раньше всех — нарочно раньше, чтоб застать невестку, если та залежится хоть на четверть часа. Саарназ это поняла на третье утро и стала вставать ещё раньше — затемно, до свекрови, чтоб, когда та выйдет, печь уже топилась, вода была nanoшена, тесто поставлено. Сатеник, выйдя и застав работу сделанной, ничего не говорила — поджимала губы и шла проверять, хорошо ли.

И всегда находила, к чему придраться. Тесто? «Жидко развела, лепёшки расплывутся». Назавтра Саарназ заводила круче. «Круто! Сухие выйдут, не угрызёшь». Невестка молчала и принаравливалась, пока не научилась заводить так, как любила свекровь, — не жидко и не круто, а ровно так. Полы? Сатеник проводила пальцем по плинтусу, по приступке, по тёмному углу за сундуком — и показывала палец, будто на нём пыль, хотя Саарназ мыла там на коленях не далее как утром. «Грязно. Перемой». И Саарназ перемывала, не споря, хотя знала, что чисто, — перемывала, чтоб не дать старухе повода сказать сыну, что невестка нерадива.

Сатеник давала ей работу на двоих, на троих — поглядеть, надорвётся ли, взвоят ли, побежит ли жаловаться. Велит к вечеру и шерсти напясть, и бельё перестирать, и тесто на завтра поставить, и обед на всех сготовить, и за скотиной убрать — столько, что и две бабы не управились бы. Саарназ управлялась. Не потому, что могла, — а потому, что не давала себе не управиться. Она вставала ещё на час раньше, ложилась ещё на час позже, и делала, делала, молча, спину прямо. Она решила про себя, в первую же неделю, твёрдо, как умела решать: эта старуха меня не сломает. Хочет увидеть мои слёзы — не дожётся. Хочет, чтоб я побежала к Севаку жаловаться, чтоб пошёл раздор между сыном и матерью, — не дожётся и этого. Я буду делать всё, что велит, и делать лучше, чем она ждёт, и молчать. И посмотрим, чья возьмёт.

Это была не покорность. Покорность ломается. Это было упрямство — то самое, что гнало её красть буквы у двенадцати братьев, носить воду в гору не считая ходок, нести тяжесть, не считая её. Упрямство было её хребтом, и Сатеник, сама того не зная, была по самому крепкому, что было в невестке, и обломала об это зубы.

Так прошёл год. И на исходе года сломалась не Саарназ — переменялась Сатеник.

Случилось это в один день, и день этот Саарназ помнила до старости. Стояла большая стирка, и она таскала воду от колодца — много, кадку за кадкой, — а была уже непраздна

первым ребёнком, хоть ещё и не знала об этом, и от тяжести, от жары, от духоты у неё вдруг потемнело в глазах, закружилась голова, и она осела наземь у колодца, выронив ведро.

Очнулась она уже в доме, на лавке. И сквозь муть, сквозь подступающий жар — она занемогла после того, слегла на несколько дней, — почувствовала, что кто-то сидит рядом и кладёт ей на лоб мокрую тряпку, меняет, как остынет, на свежую. Открыла глаза — Сатеник. Сама. Свекровь, которой по всем правилам и по всему её нраву полагалось бы прислать кого помоложе, а самой и не подумать возиться с занемогшей невесткой, — сидела у её постели и обтирала ей лоб.

— Лежи, дура, — сказала Сатеник, увидев, что невестка очнулась. Сказала грубо — она иначе не умела, нежных слов в ней отродясь не водилось. — Загнала себя. Я тебя гоняла, чтоб выучить, а не чтоб уморить. Кто ж знал, что ты такая упёртая, что себя не пожалеешь. Другая бы давно взвыла, пожаловалась, отлынивать стала — а эта молчит и тянет, пока не свалится. Дура и есть.

И в этой грубой брани было больше тепла, чем в иных ласковых речах. Саарназ поняла: испытание кончилось. Старуха её приняла.

С того дня Сатеник переменилась к ней — сурово, без нежностей, по-своему, но по-настоящему. Перестала придираться попусту. Стала учить — уже не из строгости, не на излом, а от души, желая передать: всем секретам большого дома, всему, что знала сама про хозяйство, про скотину, про то, как поставить запасы на зиму, как принять гостя, как держать себя женщине в доме, чтоб её уважали. Она вкладывала в невестку то, что вложат потом, через неё, и в дочерей Саарназ, и во внучек, — ту хозяйскую науку, что передаётся по женской линии вернее всякого наследства.

И многое из того, за что Саарназ потом будут звать кремнём, несгибаемой, — заложила в неё не родная мягкая мать, а вот эта жёсткая старуха. Сатеник научила её держать дом железной рукой, не давать слабину, не показывать усталости, спрашивать с себя строже, чем с других. Мать дала Саарназ сердце и буквы. Свекровь дала хребет хозяйки. И обе были нужны, чтоб вышла та Саарназ, какую узнает потом весь город.

Умерла Сатеник годы спустя — старой, на руках у той самой невестки, которую когда-то щупала, как тёлку. Перед смертью, уже еле слыша себя, она поманила Саарназ, и та наклонилась к ней.

— Хорошая ты хозяйка вышла, — проговорила Сатеник. — Лучше меня. Я спокойна за дом.

И это было всё, что она сказала на прощание. Но Саарназ знала цену этим словам. Для Сатеник, не умевшей говорить «люблю», не знавшей нежных слов, это «я спокойна за дом» и было — люблю. Высшая похвала, какую старуха могла дать. Она передавала дом в руки, которым доверяла, — и уходила спокойно.

Саарназ закрыла ей глаза и долго сидела рядом, и плакала — по свекрови, которую первый год ненавидела, а потом полюбила той трудной любовью, какой любят учителя, ломавшего тебя для твоего же блага.

Севак оказался не худший муж — а со временем Саарназ поняла, что и вовсе хороший, и что повезло ей так, как редко везло девушкам, которых выдавали вслепую. Иную выдавали за пьяницу, за драчуна, за старика, за дурака, и она маялась с ним весь век. А ей достался Севак.

Поначалу он с ней почти не говорил. Не оттого, что не хотел, — оттого, что не умел и не приучен был: мужчине не полагалось любезничать с женой при людях, это считалось бабством, слабостью, и над таким мужем посмеивались. И Севак при матери, при чужих, при работниках был с молодой женой сух и краток, как со всеми. Но Саарназ скоро заметила, что наедине, когда никто не видел, он другой.

В тот самый день, когда она осела у колодца, рядом случился не кто-нибудь — он. Чинил что-то в сарае поблизости и услышал, как загремело упавшее ведро. Подбежал, увидел жену на

земле — и Саарназ, уже теряя сознание, успела заметить его лицо: испуганное, растерянное, совсем мальчишеское, не такое, каким он бывал на людях. Он подхватил её, поднял на руки — она была лёгкая — и понёс в дом, и руки у него, она почувствовала, дрожали.

Когда она очнулась на лавке и увидела его рядом, первое, что она сказала, было не о себе:

— Не говори матери, что я воду не дотаскала. Заругает.

Севак посмотрел на неё — долго, странно — и сказал:

— Дура. При чём тут вода.

И всё. Больше ничего. Но в этом «дура, при чём тут вода» было больше любви, заботы, страха за неё, чем в иных длинных и красивых речах, какие говорят в книгах. Саарназ поняла в тот миг: этот человек её не обидит. И не ошиблась. Сорок с лишним лет он её не обижал — а это, что бы там ни говорили про любовь, и есть главное, на чём стоит долгий брак.

Любви, какую рисуют в песнях, между ними, может, и не было — той, что с первого взгляда, с замиранием сердца. Откуда ей взяться, если они и виделись до свадьбы один раз? Но выросло другое, что крепче и долговечнее песенной любви: уважение, привычка, надёжность, и та тихая нежность, что копится между двумя людьми, которые много лет тянут вместе один воз и ни разу друг друга не подвели. Севак знал, что Саарназ его не осрамит, не выдаст, удержит дом в любой беде. Саарназ знала, что Севак её не ударит, не пропъёт хозяйство, не приведёт в дом другую. На этом знании, прочном, как камень, и стоял их брак.

Первые годы в доме Севака сложились у Саарназ из круга, который повторялся, не меняясь, как повторяется год за годом: весна, лето, осень, зима, и снова весна, и в каждом времени — своя работа, и не было такого месяца, чтоб руки оставались праздны.

Весной, едва сходил снег и земля отпускала, начиналось самое спешное — пахота и сев, потому что весенний день, как говорили старики, год кормит, и упустить его было нельзя. Пахали на быках, тяжёлым деревянным плугом с железным лемехом, и за плугом шёл мужчина, а женщины следом — разбивали комья, выбирали камни, сеяли. Тогда же обрезали виноградник. Лозы стояли на южном скате ровными рядами, старые, корявые, и за зиму их надо было обрезать так, чтоб дали ягоду, а не ушли в лист, — и этому Саарназ учила Сатеник, водя её меж рядов и показывая узловатым пальцем: эту почку оставь, эту срежь, эту оставь. Саарназ запоминала с одного раза — память у неё была цепкая, та же, что когда-то ловила буквы через лучину. К третьей весне она резала лозу не хуже свекрови, а к пятой — лучше, и Сатеник, поглядев на её работу, ворчала, что, мол, ничего, руки откуда надо растут, — и это была похвала. А ещё весна была голодная пора, перезимок: старые запасы подъедены, нового ещё нет, и тянули на остатках, на первой зелени — крапиве, щавеле, диких травах, которые баба знала наперечёт, какая съедобна, какая нет, и которыми перебивались до нового хлеба.

Летом работа шла от зари до зари, без роздыха. Огород — прополка, поливка по бороздам, в которые отводили воду из арыка, и каждый помнил свой черёд на воду, и за воду в засуху случались и ссоры, и драки, потому что вода летом дороже хлеба. Сенокос — мужчины косили, бабы вязали за ними, гребли, метали стога, и работали в самый жар, обливаясь потом, потому что сено надо взять, пока стоит ведро, упустишь день дождя — сгниёт. И тут же поспевали первые овощи, фрукты, и начиналась заготовка впрок, которая не кончалась до глубокой осени: сушили, солили, мочили, вялили — потому что зима длинна, а запастись надо на всю большую семью, и хозяйка, не запасшая летом, обрекала своих на голодную весну.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.